

Пьянеешь только с хорошими людьми



Жизнь идиота

— К сожалению, как только я просыпаюсь утром, в голове у меня уже черные мысли про свои стыдные, глупые, невыносимые поступки. Как от них избавиться, что делать? Я тут же олеваюсь и — вниз, в рюмочную. Сто грамм. Разливалишцы меня хорошо знают. Они уже стали меня уговаривать: «Ну, сто грамм, с утра... Зачем? Может, не надо? Это здоровью вредит». А недавно я был в Москве в гостинице, и девушка в баре мне тоже говорит: «С утра... сто грамм, зачем? Это вредит здоровью». Я говорю: «А мне в Ленинграде то же самое говорили!» Она: «А вы что, думаете, мы газет не читаем?»

Если бы я писал сейчас что-нибудь большое, я бы назвал это — «Жизнь идиота». Но такое название уже было у Акутагавы.

Моя мать умерла, когда я был еще таким маленьким, что даже не знал об этом. Отец женился на другой, но женщина ему сказала: «Только без детей». А у меня был маленький брат Лазик, Лазарь. Нас подкармливали соседи. Потом он заболел скарлатиной и умер, и когда я остался один, меня взяли родственники.

Они были хорошие люди, но время от времени выгоняли меня из дома. Я жил у них не совсем полноправным человеком. И тогда же в детстве я безумно полюбил театр. В школе нас повели в филиал Малого театра на спектакль «Без вины виноватые». Помните, Незнамов, у которого не было ни отца, ни матери. И у меня тоже не было матери и, в сущности, не было отца. И мне стало не по себе, и слезы градом. Я пошел еще раз на этот спектакль, и опять в слезы. И — в третий раз. И я думал, что, кроме этого, ничего в театрах не существует и ничего больше мне не нужно.

У меня был двоюродный брат — высокий, светлоглазый, красивый. К нему собирались актеры студии Дикого, режиссера, которого я очень любил. Однажды брат меня спросил: «Ты читал Пастернака?» Я говорю: «Нет». — «Почитай».

Для меня его слово было закон. Я начал читать и, конечно, ничего не понимал. А потом, когда меня выгоняли из дому, и я стоял под жестяным навесом в парадном, и шел дождь, я начал понимать: «Так носят капли весты о езде, и всю-то ночь то покают, то едут, стуча подковой об одном гвозде то в тот полдень, то в зот».

Потом наступила зима, и я начал понимать про зиму. «Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой. Только крыши, снег и, кроме крыш и снега, — ничего». А потом про женщин: «Ты появившись у двери в чем-то белом, без прищуд, в чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шют».

Пастернак был моим кумиром. Я знал его с начала до конца. Но мне казалось, что, кроме меня и моего двоюродного брата, его никто не знает. Ни в моей школе на 1-й Мещанской, в Москве, ни вообще нигде. Я думал: «Какая странная фамилия Пастернак, очевидно, он итальянец». Потом я прочитал книжку «День второй» Эренбурга, и там часто упоминается юноша, который любил математику и Пастернака. Ага, думаю, значит, еще один человек знает Пастернака, нас трое. Потом только сообразил, что если Эренбург это написал, значит, он тоже знает, что есть Пастернак.

И вторым кумиром — Вахтангов. Я его, конечно, не видел, но много читал о нем. Потому что он мне очень помогал тем, что в страшное время гражданской войны поставил «Принцессу Турандот». Вель искусство всегда служит радости существования. И я оттуда черпал эту радость. Это было до войны. После школы я работал в деревне учителем. Там я тоже выпивал. В сельпо четвертинку и соевый батончик на закуску. А вечерами звал к себе более способных учеников и читал им Блока, Есенина. Пастернака не читал.

И я тогда вдруг почувствовал, что не знаю, что мне с собою делать. Пускай, думаю, со мной делают что-нибудь другие. Тогда учителям в деревне давали бронь, они могли не идти в армию. Я уволился в деревню и добровольцем вступил в армию, в новое бесправное, униженное состояние. Все говорили, что я дурак, и я сам знал, что поступаю глупо. И вдруг за несколько дней до этого чей-то звонок по телефону. Женщина. Откуда-то все обо мне знает. И говорит очень умно и хорошо. И вдруг говорит: «Может быть, встретимся?» Тут я подумал: «Это судьба меня наказывает за что-то». Я уже получил повестку, через пять дней уезжаю в армию, и вдруг мне звонит прекрасная женщина в белом платье, чтобы я знал, с чем прощайся и от чего уходи!

Я ей сказал: «Я не хочу встречаться». Она спрашивает: «Почему?» — «Я чувствую, что это наказание судьбы за что-то. Что я должен прощаться с прекрасной женщиной». Она говорит: «Да нет, я маленькая, серенькая». А, думаю, ну тогда ничего. И мы пять дней погуляли. Она оказалась очень умная. Когда нас повезли, и я уже сел в машину, она одна меня провожала, я не хотел, чтобы кто-нибудь даже знал, как глупо я поступаю. И она стояла около грузовика. Я это даже встал в «Пять вечеров». Все плачут, она не плачет. Потом говорит: «Вот видишь, какая у тебя будет болезненная...» И не договорила. Я говорю: «Что-что?» — «Вот видишь, какая у тебя будет болезненная жена?» Я говорю: «Вот это да! Чего вдруг?»

Тогда еще не было в армии ни деловщины, ни самоубийств. Но было другое. Не отпущали из армии даже после того, как отслужили положенное. «Ты сколько служишь?» — «Три года. А ты?» — «Четыре года. А ты сколько?» — «Пять лет». И непонятно было, это на всю жизнь — казарма? Нас копчили, пока война не начнется. А до войны Тимошенко издал приказ, что командир может быть рядового по физиономии, если он не выполняет приказания. Или стрелять.

А когда мы еще были под Полодьском, я получил письмо от этой девушки. Подольск близко, и она приехала. Я иду по тропке, а навстречу мне капитан. Он говорит: «Товарищ боец, вашу увольнительную!» А мы еще присягу не принимали, и нам не давали увольнительных. Я говорю: «У меня нет увольнительной, но я иду в Подольск. Меня пригласила девушка, чтобы я ее встретил». — «Товарищ боец, смири!» Я встал смиренно. — «Кругом — шагом марш!»

Мимо идут гражданские люди, мне неудобно, что он кричит. Я говорю: «Я обратно не пойду, вы простите меня, но люди гражданские слышат, неудобно». Тогда он хватается за кобурку. Я говорю: «Простите меня, я пойду, а вы стреляйте». И пошел. И он не выстрелил.

Нас копчили, копчили, пока война не начнется. Она началась совершенно неожиданно. В тот день нас повели строем смотреть кино в Доме Красной армии под Полодьком, где мы служили. А я тихонько остался за воротами, чтобы посмотреть на женщин. Посмотреть, как они стучат каблучками. Сколько я их тогда увидел! Как они все были прекрасны! Так на всю жизнь у меня и осталось. И вдруг вываливается из Дома Красной армии наша подразделение, все обнимаются, целуются, кричат. Я к ним: «Что случилось, что?» Они, счастливые: «Ты что, не слышал? Там объявили — война!»

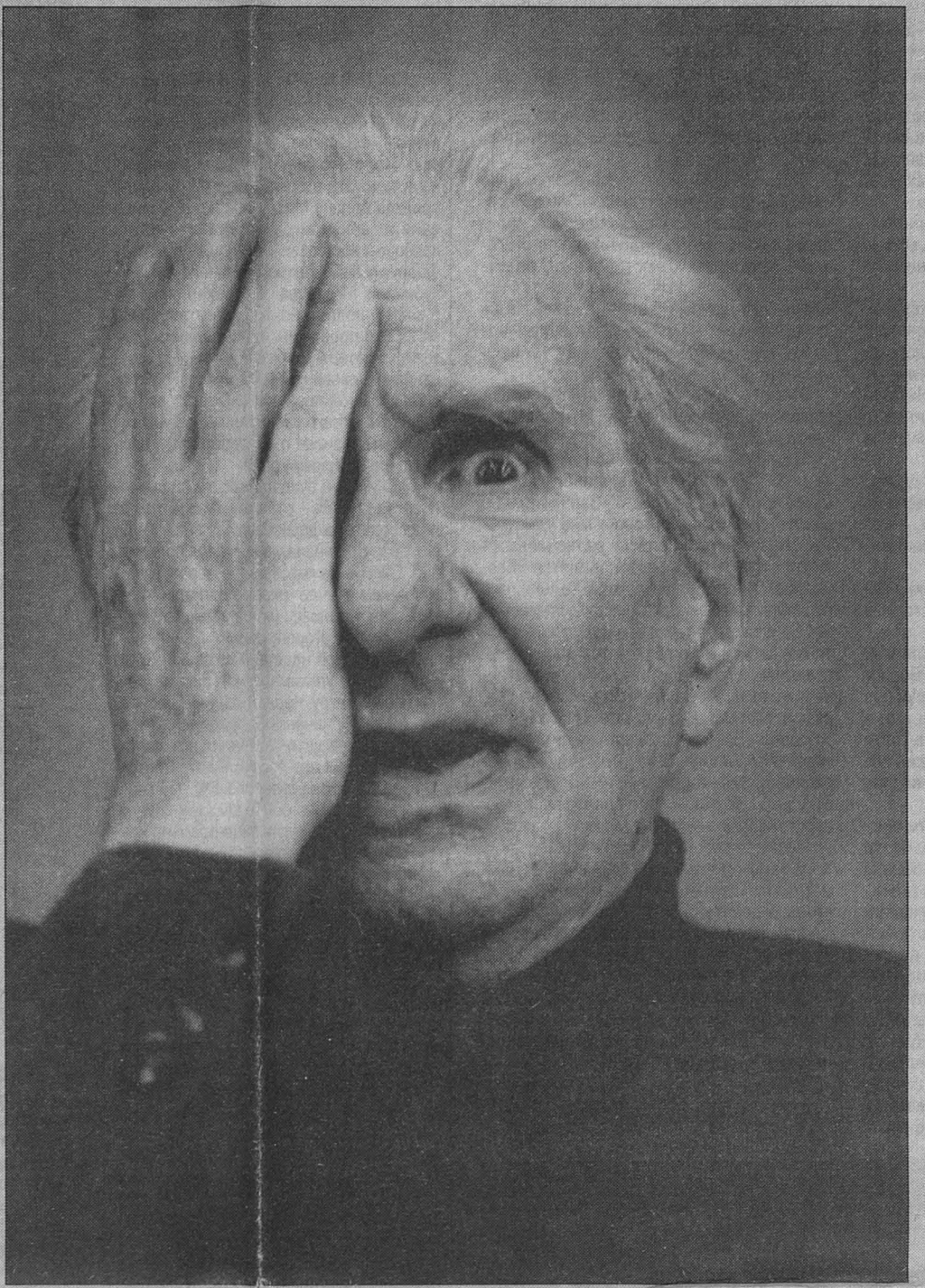
Боже мой, война, какое счастье! Наконец-то свобода! Две недели мы кого-то побеждаем, захватываем. Потом армия не нужна, нас демобилизуют. А до этого еще дороги туда — на Запад. Мы идем этими дорогами. Потом возвращаемся домой. Это было такое счастье! Мы шли по городу Полодьку, пели песни и смотрели на женщин, которые стояли у дверей и плакали. Ну, думаю, дуры! Мы орем на политура: «Да Буденный уже встал Варшаву, Ворошилов подползет к Берлину, а мы-то когда?» — «Ладно, успеете, успеете...» То из старой пельни было: «Дашев Варшаву! Дай Берлин! Мы врезались в Крым!» Почему-то в Крым врезались. Из другого времени к нам перешло. Немские самолеты летели над нами в Полодьк и тихо там бомбили. Нас потом бросали на танки в расчете на то, что они поскользнутся на нашей крови. Потому что у нас почему-то и танков не было. А я в ее вперед лез.

Друзья мои говорили: «Саш, ну что ты врешь?» Ты посмотри, что происходит!» На фронте знают как, чуть-чуть отклонившись от чего-то, подлазишь к началству, тебя куда-то не пошлют, это значит, ты себе жизнь получил, а смерть положил на другого. Так что я там, как интеллигент и как сврей, все время рылся вперед. И вернулся я с фронта получеловеком. У меня было сильное ранение. Мы бежали в атаку под Ржевом. Сзади бежали два наместа, которых тогда недолюбливали, потому что они немножко уклонялись. Ну а чего им было за другую страну так уж воевать? И вдруг один из них изо всей силы бьет меня сапогом в бок. И так ударил, что я рухнул в черную воронку от предыдущей мины. А они упали на меня. Я лежу и не могу дышать и прошу, шепчу, залакаешь: «Слезайте с меня, слезьте с меня...» Потом, когда убрали раненых, их сняли. Оба были убиты. А меня там лечили. Осколок не вытащили, он был близко от сердца. Ладно. Все переписываются с кем-нибудь. Тогда я стал переписываться с той девушкой. Всю войну переписывался. А раз переписывался, значит, это моя девушка. Меня наградили медалью, тогда еще редкой — «За отвагу», которую я вскоре потерял, когда вытряхивал вишей. Мы были все во вышах. Даже эта девушка однажды получила от меня конвертик, в который залезла вошка. Эта девушка потом стала моей женой.

В ЧЕТВЕРГ ПОУТРУ

Александр ВОЛОДИН — драматург. Живет в Санкт-Петербурге. Недавно награжден театральной премией «Золотая маска» в номинации «За честь и достоинство». Автор ставших классическими историй любви 50-х — «Пять вечеров» и 70-х годов — «Осенний марафон».

Последнее время пишет прозу-исповедь — «Записки нетрезвого человека», по своей душевной, «пьяной» открытости не уступающей знаменитым «Москва — Петушки» Венедикта Ерофеева. Человек достаточно пожилой (род. в 1919 году), прошедший войну и не менее тяжкое «мирное время», Александр Володин сохранил настолько пронзительную ноту незащитной души, что даже испытываешь рядом с ним неудобство: «Да нельзя же так...» Он далеко не оратор, сбивается с мысли, ищет слова, но сколько раз в редакции во время его рассказа наступала совершенно невероятная тишина... Мы отошли от традиции и не публикуем сегодня задаваемых Володину вопросов: его исповедь не исчерпывается никаким внешним вопрошанием.



Стыдно быть несчастным

— После войны я был как-то надломлен. Душа моя увяла. И театр я разлюбил. Первое, что сделал после войны, ринулся в Малый театр. Святившиеся ярусы, в зале полно штабных генералов, богатых, разболевших. На сцене «Пигмалион» — Зеркалова и Зубов. И вдруг я почувствовал, что это не театр, что это то, что неисконно притворяется театром. А театр был убит войной. Такое у меня было ощущение. И я перестал надолго туда ходить.

Послевоенное время оказалось не счастьем, а чем-то тусклым, опасным и уродливым. И я вопреки всему написал себе закливание: «Стыдно быть несчастным». На фронте была далеко идущая мечта: потом, когда кончится война, стыдно будет быть несчастным. Женщины. Самые, казалось бы, несовершенные иногда говорят такие слова, и так смешно звучат, и так притворительно думают о нас, чтобы нам было лучше, чтобы нам было плохо. И с последней из них, как с первой из них. Стыдно быть несчастным.

И я, сломанный человек, присоединял свою несчастливость к своим стыдам. Потому что думал: а вот этот, без двух ног, ему-то как? А старушка, которая доживает свои дни в переходе, ей-то как?.. Скольким людям хуже, чем мне!.. И меня так порадовало, когда какая-то женщина позвонила и сказала только одно: «У нас девиз со всеми подругами — вот этот. Начиная разговор, мы говорим: стыдно быть несчастным». Значит, кому-то это тоже помогло.

Потом как будто взрывы начались: театр Товстоногова, «Современник», Эфрос. Я у Эфроса спрашиваю: «Толя, а почему у тебя Отелло в очках?» Он говорит: «Так он же интеллигент. Он же не шапкой машет, он генерал, за картами сидит. Он, как Вершинин, тоже военный».

И вот я написал «Фабричную девочку». Такая социальная пьеса, сейчас устаревшая. А «Пять вечеров» — ну никакая, ничего социального там нет. Я не хотел ее показывать, мне стыдно было, но Товстоногов начал ее репетировать. И эти репетиции меня ошеломили. Какие-то неустойчивые судьбы, одинокая женщина. Нас в обком с ним вызывали. Уполномоченный по культуре говорит: «Почему она у вас одинокая?» «Да она уже не одинокая», — говорю, — она уже с ним сидит, когда занавес закрывается». — «Почему закрывается? Не надо закрывать занавес, пока не станет ясно, что они нашли свое счастье и всем хорошо». Товстоногов как-то настоял, чтобы занавес закрылся. А потом эта песенка, которую пели за столом, и она мне понравилась: «Миленький ты мой, возьми меня с собой...» Я говорю: «Да зрители же из зала будут уходить, когда ее услышат». Мне дают рюльчик билетов раздать знакомым на прогон. Я выхожу и, кого увижу знакомого, перел театром, прошу: «Не надо ходить, не надо смотреть. Это — маленькая пьеса, маленький спектакль». Почему-то у меня было такой довод. И что пьеса плохая, и мне стыдно, не надо. Но разве кто-то уйдет с прогона Товстоногова.

Потом, когда после первого акта были долгие-долгие аплодисменты, я был ошеломен: за что? Все ходили с красными пятнами на щеках и говорили, и обнимались. А потом второе действие. И в конце, когда она говорит: «Я в Павловске не была, там, говорят, очень красиво» в надежде, что поедет туда с любящимся ее заново человеком, которого играл Копелян... Тут уж Бог знает что творилось...

Я всегда знал, что я тупой и ограниченный человек, и пьесы я писал, заранее стыдясь, что будет плохо. Даже, помню, куда-то в гости собрался и уже пальто надел на одну руку, дай, думаю, все-таки запишу быстро, записал и ушел, а потом смотрю, ничего врое, несмотря даже на то, что выпил перед этим. Но я ни с кем не делился, заранее уверенный, что будет плохо.

То, что было в «Осеннем марафоне», было и со мной. Жена все знала. И женщина, которую в кино играла Неелова, тоже все знала. У нее был ребенок мой. А потом она умерла. Ребенка я взял к себе в семью. Но к нему не очень хорошо относились жена и ее сестра. И мне все время хотелось, чтобы он реже был дома. И я ему все: «Иди в хоккей поиграй». Или давал денег: «Сходи, поешь пирожков».

Теперь ему 24 года, он уехал в Америку, куда его забрал мой старший сын с женой, он окончил там университет и оказался очень способным, идет той же дорогой, что и его старший брат. А тот вообще очень талантлив. Его друг сказал: «Пускай уезжает, тут его посадят». Их с женой очень долго не выпускали. Он математик, программист, занимается искусственным интеллектом. Теперь это известный в мире ученый, его приглашают во все страны, он велит симпозиумы и все такое. Ему скоро пятьдесят, он пригласил меня на свой день рождения и на свадьбу моего внука.

Я своего старшего сына начал стесняться, еще когда он в школе учился. Я ему говорю: «Володя, ты там не тани руку, когда тебя учительница будет спрашивать. Не надо от других отличиться». Он в четвертом классе занимался высшей математикой. И вот меня вызывает учительница: «Вы знаете, он хороший мальчик, послушный, но недоразвитый

какой-то, очень отстает». Я дома говорю: «Володя, ты иногда руку поднимай». Он руку поднял и исправил формулу, которую учительница написала на доске.

И вот младший, Алеша, идет по его стопам. Он сейчас даже растерялся, столько предложений получает из разных университетов на то, что у нас называется аспирантурой. Такое вот продолжение «Осеннего марафона»...

Мне звонит Никита Михалков и говорит: «Александр Моисеевич, мы решили поставить картину «Пять вечеров». Я тут же: «Никита... извините, забыл ваше имя-отчество». Он посмеялся, говорит: «Сергеевич». Я говорю: «Никита Сергеевич, ни за что! Это устарело, умоляю вас! Мне так нравится картина «Осеннее панино», не надо, прошу вас».

Он говорит: «Ну приезжайте к нам отдохнуть». Я говорю: «Да, как-нибудь приеду». «Там, внизу, — он говорит, — машина вас ждет». Я говорю: «Елки-палки, но чтобы только не было разговоров о «Пяти вечерах!» — «Не будет, Александр Моисеевич, что вы».

Я приезжаю, меня встречают, мы обнялись. «Только, — опять говорю, — чтобы не было разговоров о «Пяти вечерах», потому что это стыдно после «Механического панино». Они обещалили даже номера с Адабашьяном, накрыли такой стол, что обалделось, и через некоторое время мы вышли на брудершafft, перешли с ним на ты, и он говорит: «Знаешь что, давай начинай работать». Я: «Как?» — «Ну переделай пьесу в сценарий. Времени у нас мало, мы решили снять это за месяц, на студии все спорят на коньяк, что этого не может быть, так что у тебя девять дней».

Я хожу по коридору, думаю: «Елки-палки, за девять дней!» Мне уже и этого стыдно, и того, и это надо выкинуть, и то переделать. Актеры, которые у него играют, меня спрашивают: «Вы что здесь делаете, отдыхаете?» Я говорю: «Да». Начал писать, пишу, пишу, пишу что-то такое. Он вечером приезжает со съемом, приходит ко мне: «Ну прочитай». Я читаю. Он говорит: «Гениально! Так вот и дальше». Я так и дальше, он опять вечером приходит и опять: «Ну, гениально!» И так девять дней я делал «гениально». Впервые в жизни. И он тут же одновременно начал снимать. И единственный раз, когда я пошел на съемки — стыд прошел, раз все гениально, — и слышу, как Гурченко говорит: «Я решила поехать на фронт. Найти тебя, я такая-то, такая-то, ты то-то и то-то». Я говорю: «Если это будет в картине, я застрелюсь». — Михалков: «Саш, ну о чем ты? Зачем такие слова? Ну напиши как хочешь». Я пишу: «Я долго болела, а Славик, племянник, залезет под кровать, и его не найдешь, но я там что-то...» Я как бы люди были в эвакуации. Он прочитал: «Слушай, гениально! Люся, учи быстро текст». Она села читать, прочитала, все выучила, и этот монолог прочитала, и эта легкость очень меня радовала.



Никто не знает, сколько всего накопилось

— Когда я трезвый, опять эти мысли о стыдах, о винах, и я не могу от них избавиться. И опять в рюмочную. А они мне там: «Ну что с вами?» «Да черные мысли», — говорю.

Некоторые говорят: «Вы — то-то и то-то... Ваше поколение — это то и то...» Мне так неловко. Я тут же вспоминаю все, что было. Вручали недавно «Золотую маску». Я ни слова не сказал, только кланялся в разные стороны, как китайский болванчик. Потом спрашивают: «О чем вы думали, когда вам вручали «Маску»? Да о том, сколько нелепого, глупого, плохого было в жизни. От чего я не могу избавиться».

Ко мне сегодня хорошо относятся. Меня это каждый раз удивляет, и как-то делается не по себе. Они не знают, сколько во мне всего накопилось против них. Если бы при мне ругали то, что мне дорого, я бы как-то сопротивлялся. Но культура, интеллигенция, театр им вообще не нужны. Так, шебуршатся что-то, деньги просят, а давать на культуру не хочется, и всегда есть отговорка: «Люди голодают». Оправдать все можно, но если бы действительно было преклонение перед прекрасным, это бы сказалось. А на самом деле отношение к культуре на десятом плане.

Они не понимают, что души людей очищаются искусством. С душ людей надо начинать. Да, в деревнях не до того. Но что же делать, мы всегда голодали и будем голодать, как кто-то мне сказал, что же это... А-а, Христос! Когда ему Мария Магдалина омыла ноги мирром, Иуда пришел и сказал: «Что же Ты делаешь, это дорого стоит, а люди голодают». Он сказал: «Они голодают и будут голодать. Но людям нужен праздник».

За страну стыдно. Но ведь получается, что это не какая-то «она» страна, это мы все. Кто захватывал и цеплял за собой Эстонию, Латвию, Литву? Нам всего мало, надо еще кого-то захватить на то дно, на которое мы спускаемся.

В армии, еще до войны, нас поднимают ночью по тревоге. Повезли куда-то, к какой-то границе. Указали ориентиры: дом, сосна, где подовать сопротивление. В 11.00 открыть огонь по таким-то точкам. Без десяти одиннадцать новый приказ: «Границу перейти, но не открывать огня, ядрена мать!» И мы перешли границу. Это была Литва. А на другой день оказалось, что Эстония, Латвия и Литва добровольно присоединились к СССР. Вот это я ненавижу. Насилие это. Потому что я там был, я видел, какая это страна.

Когда мой младший сын поступал в Америке в университет, там принято такое интервью на самые разные темы. Он был еще мальчик, он не жил этим. Но мои разговоры по телефону с матерными словами по поводу творимого с Литвой он помнил. И он им все рассказал про эту Литву. И как только он рассказал про Литву, его тут же приняли.

То же с Чехословакией. Я ее не видел, но Чехословакию любил заранее, любил ее фильмы, Милоша Формана. И вдруг меня приглашают в Чехословакию. И звонят от Фурцевой: «Вас приглашают в Чехословакию. Но ехать не надо. Вам будут задавать провокационные вопросы, и вам будет трудно на них отвечать. А если вы ответите, то вам будет трудно возвращаться». И вдруг наши танки.

Когда мой сын с женой в первый раз приехали из Америки сюда, они так были рады тому, что увидели. Киоски в подземных переходах, и в магазинах все появилось, и мы пошли по демократическому пути, и мы будем постепенно превращаться в цивилизованную страну. Они были этим очень взволнованы.

Теперь они относятся к этому иначе. Спрашивают у меня: «Кто — кто?» Я в этом отношении аполитичный человек, не мог им даже сказать, кто — кто. Я спрашиваю друзей: «А Собчак — хороший или нет?» Кто говорит: хороший, кто говорит: нет. «А Ельцин — хороший человек?» Кто говорит — хороший. Кто говорит — нет. Ну что я могу сказать им? Лебедь? Как говорил Жванецкий, он мог переводит на русский. Дальше я уже путаюсь.

Сейчас такое смутное, странное, неопределенное время. Новые русские, которые ринулись в фирмы и зарабатывают деньги с большим количеством нулей, их показывают по телевизору. И в то же время люди, которые начали читать философскую и религиозную литературу. И в то же время люди, которым на все плевать. И в то же время люди, которые нищенствуют и голодают. И так непонятно, к чему идем. Вернемся к тому, что было? Нет. Придем к уродливому капитализму? Может быть. Но я был в Америке, и у меня ощущение, что нам, чтобы построить такое государство, нужны столетия.

Я ходил и только смотрел на дома. Это так красиво, так хорошо живут люди. Я спрашиваю: «А чей это дворец!» Мне говорят: «Не знаем, наверное, этот человек хорошо работает». А с каждой машины мне машут рукой и что-то говорят по-английски. Что я могу ответить? «Ай донт спик инглиш». Потом спросил Володю, сына: «Что они мне говорят, приветствуют, что ли? Откуда они знают, что я советский?» Он говорит: «Да нет, они видят, что ты идешь пешком, и спрашивают, не надо ли тебя подвести». Я иду по улице, и вдруг женщина останавливается и говорит: «Почему у вас такое лицо?» А у меня обыкновенное лицо, с которым я здесь все время хожу. Ну что я мог ей ответить?

Неправда, что все их улыбки — это показуха. Это и сердечное предположение, что ты, быть может, хороший человек. Близкие говорили: «Почему ты никогда не улыбаешься?» А я говорю: «Я разучился». Я не знаю, почему, но меня к концу месяца тянуло домой.

Мне мой младший сын говорил, когда еще был маленьким: «Папа, а у тебя бывает, что ты знаешь, что впереди будет что-то хорошее?» Я говорю: «У меня бывает, что я знаю, что впереди что-то будет. Но плохое».

Остается одна жалость. Жалость ко всему, что подавлено, унижено и унижаемо каждый день. И неприязнь к тому роскошному, что все время показывают по телевидению. Поменьше бы это показывали. Я с теми, кому тяжело, кто мучается.

Я себе даже когда-то закливание написал: «Никогда не пейте с неприятными людьми!» Никогда не пью с неприятными людьми. Чем больше пью, тем больше их понимаю. Чем больше их понимаю, тем противнее. Я не напиваюсь с ними, ну не могу! А с симпатичным человеком — с первой рюмки...

Раньше мне были симпатичны фабричные девчонки, сейчас — разливальщицы в рюмочных. Они попроще и, в то же время, добрее. И хорошо, что не такие умные, может, от этого и мудрее.

И в то же время всегда сохранялся в душе место для идеала. Та прекрасная женщина в белом платье, подобную которой я видел в то утро, когда не знал, что началась война.

Давно-давно это было. Я ехал в троллейбусе, рядом стояла молоденькая девушка, лицо которой показало мне знакомое. И я вдруг смотрю, она касается меня коленкой. «Да что это, — думаю, — я же старше ее не знаю на сколько лет!» У нас завязался разговор. И вдруг она оказалась такого кругозора, такой любви к архитектуре, к живописи... Все время останавливала меня: «Смотри, какая бабенка... смотри, какой дом...» Это сталинский дом, вот это хрущевский, а вот, на 3-й Мещанской, смотри, дома все с балконами, на них раньше выходили люди и пили чай, а теперь никто не выходит, не нужны балконы, если с них видишь те же машины и те же заводы».

Получилось так, что моих близких не было в Ленинграде. И у нас начались близкие отношения. Потом жена должна была приехать, мне было не по силам обиходить ее, и мы с этой женщиной расстались на долгие годы.

А потом мне звонят друзья, которые ее знали, и говорят, что она спрашивает по телефону, не могу ли я и позвонить ей? После нашего расставания она вскоре вышла замуж. Она очень красивая, и ей даже как-то не шло быть одной. Чтобы не остаться брошенной, она вышла замуж за человека, который работал в совместной фирме по медицинскому оборудованию. Она сказала ему: «Я могу исчезнуть в любую минуту». Может, он решил, что это шутка? И вот недавно она опять сказала: «Я могу исчезнуть». Куда? Жить нам негде. Да и не брошу я жену, которая болеет, недавно была операция. И мы с ней встречаемся или на улице, или в каком-то углу. И она вот близка к идеалу. Она учит меня всему. К сожалению, она немножко напоищает разбогатевших новых русских. Она сказала, что мне надо, во-первых, эти штаны заменить на парадный костюм. Во-вторых, чтобы брюки немножко спускались на ботинки. В-третьих, надо ходить немного вразлохотку и т.д. Я говорю ей: «Слушай, надень ушанку, надень валенки, и будем с тобой гулять». — «Но тебя ведь во дворе знают, что же я в ушанке выйду...» Вот так, если без подробностей.

Мне сейчас даже писать расхотелось. Друг сказал: «Знаешь, приходишь время, когда человек должен почувствовать, что он уже все сказал, что хотел, и дальше ему уже необязательно писать. Но он — писатель, и он думает, что ему надо писать, а это ведь пишет уже графоман».

Я мог бы написать про жизнь идиота, буду продолжать свои «Записки нетрезвого человека». А может быть, стихи. Даже не стихи — полустихи, черт-те что. «Солнечным сиянием пронизан, ветром революции несом, над землей парит социализм с получеловеческим лицом».

Или про себя. «Простите, простите, простите меня. И я вас прошоаю, и я вас прошоаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня. Забудете, забудете, забудте меня. И я вас забуду, и я вас забуду. Я вам обещаю: вас помнить не буду, но только вы тоже забудете меня. Как будто мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас уважаю, но я на другой проживаю. Привет». Я, наверное, что-то не то отвечал, да?



Удобно ли это писать, не знаю. Дорогая «Общая газета»! Вы не только моя любимая газета! Это уже все мои знакомые и друзья говорят, я счастлив сейчас, рядом с вами.

Володин

Полосу подготовил Игорь ШЕВЕЛЕВ
Фото Михаила КЛИМЕНТЬЕВА